

**Дмитрий Васильевич Григорович**

**Пахарь**

**Москва  
Книга по Требованию**

УДК 82-3  
ББК 84

**Дмитрий Васильевич Григорович**

Пахарь / Дмитрий Васильевич Григорович – М.: Книга по Требованию, 2011. – 54 с.

**ISBN 978-5-458-03791-4**

Дмитрий Васильевич Григорович (1822-1899) вошел в историю русской литературы и получил широкую известность за границей прежде всего как автор повестей "Деревня" и "Антон-Горемыка", затронувших основной социальный вопрос эпохи — безвыходно тяжелое положение крепостного крестьянства России.

**ISBN 978-5-458-03791-4**

© Издание на русском языке, оформление, «  
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «  
Книга по Требованию», 2011

Дмитрий Васильевич  
Григорович  
Пахарь



# I. ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

...Звонили к вечерне. Торжественный гул нескольких сотен колоколов усиливался постепенно и разливался мягкими волнами над Москвою. При ярком блеске весеннего солнца, начинавшего клониться к западу, Москва казалась волшебным, золотым городом. В эти часы весенних ясных вечеров Москва ни с чем сравниться не может! Но все-таки не нахожу слов, чтобы передать радостное чувство, которое овладело мною при расставании с городом. Я как будто воскрес душою, когда миновал Замоскворечье, проехал последнюю улицу, обставленную трактирами, запруженную народом, подводами, сайками, калачами, баранками, и очутился наконец за заставой.

Шум и возня, превращающие близость застав в многолюдный базар, делают еще заметнее резкий переход из города па поле. С каким наслаждением откидываешь верх тарантаса! А между тем впечатление еще не полно: долго попадаются возы с телятами, овощами и припасами всякого рода, встречаются толпы каменщиков, плотников и других рабочих. Все это невольно приводит на память городскую возню и суматоху, которую только что покинул и которая так давно наскучила. Время от времени приходится проезжать длинные села с каменным барским домом, как бы перенесенным сюда прямо с Тверского бульвара. На улице народ в картузах и синих мещанских кафтанах; бабы в штофных коротайках; парни похожи на фабричных щеголей; девки с бойкими глазами и пухлыми, белыми руками, никогда не бравшими серпа. Все почти подворотни превращены в лавочки: везде весы, баранки, деготь и ободья; в окнах неуклюжие самовары. Верст за десять и даже более от заставы встречаются щегольские, расписанные цветами тележки, в которых величественно восседает толстая мещанка с золотисто-фиолетовым платком на голове; рядом помещается такой же толстый сожитель, мещанин, – купец, поставляющий крупу или муку в один из столичных лабазов... И долго, еще долго будут попадаться давно наскучившие и как бы скроенные на один лад физиономии; долго станет преследовать звяканье медных пятак, смешанное с тем несносным, одуряющим голову дребезжаньем, которое преследует вас в городе и днем, и ночью. Приморские жители уверяют, что звук, который слышится в больших раковинах, происходит от того будто бы, что в их пустоте навсегда остается шум моря: «море нашумело», говорят они. Надо полагать, человеческое ухо, как эти раковины,

если не всегда, то надолго способно сохранять шум города. Город давно уже успел исчезнуть; исчезли постепенно и самые признаки городской суетливости; даже колокольный звон, долго покрывавший все остальные звуки, тонул и терялся в пространстве. Но все еще в ушах раздавались шум и трескотня улиц, грохот экипажей, хлопотливый говор, знакомые голоса и восклицания... Я страшно тяготился городом!...

Разлука с ним чувствительна для тех, кто оставляет за собою особенно близких людей или особенно дорогие воспоминания; но когда нет ни тех ни других, когда покидаешь одну суетную, мелкую жизнь, оставляющую после себя чувство умственной и душевной усталости и непременно чувство какого-то неудовольствия и даже раскаяния, – разлука с городом делается сладостною выше всякого описания. Понятно тогда, почему так заботливо стараешься забыть все прошлое; понятно, почему сердце так только вот и рвется вперед и вперед к этому бескрайнему горизонту, полному такой невозмутимой, такой торжественной тишины...

С каждым шагом вперед, кругом делалось тише и тише, воздух свежее и свежее. Я нетерпеливо ждал минуты, когда прощуь с большой дорогой. К счастью, недолго было дожидаться: на пятнадцатой версте я повернул на проселок.

## II

И вот я снова в полях, снова на просторе, снова дышу воздухом, пахнущим землею и зеленью!

Чудный был вечер! Солнце было еще высоко над горизонтом: оставалось час или полтора до заката. Прозрачное, безоблачное небо дышало свежестью; оно сообщало, казалось, свежесть самой земле, где на всем виднелись признаки юности. Апрель приближался к концу. Весна была ранняя, дружная; снег давно сбежал с полей. Повсюду, направо и налево от дороги, вдали и вблизи, по всем буграм и скатам, зеленели озими, освещенные косвенными золотыми лучами; тонкие полосы межей были еще темны; над ними вместо тучных кустов кашки, донника, ежевики и шиповника лоснились покуда пунцовые прутья и подымались ноздреватые, пересохнувшие стебли прошлого года; где-где разве развевывался и сквозил мягкий, как бархат, лист земляники. Но как уже хорошо было в поле! Тишина необыкновенная. Так тихо, что ни одна былинка не покачет головкой; а чувствуешь, между тем, – слышишь даже, что весь этот неоглядный простор земли и воздуха наполнен жизнью и движением. Напрягаешь слух, жадно прислушиваешься... И – странно! – звуки эти радостно даже как-то отдаются в душе и тешат ее... Совсем не то, что в городе... В блестящей глубине небесного свода не видать жаворонка; но воздух наполнен его переливами. В каждой борозде, в чаще мелкой травы, в озимях слышатся писк, шорох. Далеко в рощах воркует горlinka и перелетают с места на место дикие голуби. Все оживает: в самой тонкой ветке, в самых нежных стебельках движется свежий сок, хлынувший из корня, которому так тепло теперь под землею, нагретою солнцем. Мириады насекомых роями жужжат в воздухе, снуют и качаются на гибких травках молодой зелени. Солнце везде и всюду: солнце насквозь пронизывает густые чащи, не успевшие еще заслониться листом; солнце донимает в глубине лесов и оврагов остатки рыхлого, почерневшего снега; солнце жаркими лучами обливает поля, где сквозь редкую еще зелень блистают новые отпрыски озимого хлеба и желтеет прошлогоднее, дотлевающее жнивье. С каким наслаждением выставляешь на внешнее солнце спину и обнаженную руку! В воздухе уже не чувствуешь той проникающей сырости, которая заметна в первую весеннюю пору, когда реки в разливе; реки вступили в берега свои. Вода сквозила и отражала чистую синеву неба: леса – особенно, если смотреть на них сбоку – видимо, почти опушались. Еще два-

три такие дня, и птицы, которые поминутно встречаются с соломинкой или перышком в носу, начнут вить свои гнезда в защите под куполами и сводами молодых листьев.

Местами проселок был влажен; но нигде не было следа грязи: колеса катились как по бархату, оставляя по чернозему следы, как бы покрытые лаком.

Славное было время для путешествия!

### III

Мне следовало проехать около двухсот верст по этому проселку. Недалеко, кажется, но, в сущности, это целое странствование: предстояло переехать Оку, на которой, судя по времени, не успели еще навести моста; было на пути еще несколько маленьких речек, которые переезжаются обыкновенно вброд, потому что мосты на них обманчивее всего брода. Но я не скучал этим.

Надо вам сказать: я с детства чувствую особенное влечение к нашим русским проселкам. Если судьба приведет вас когда-нибудь случай ехать по России, если при этом вам спешить некуда, вы не слишком взыскательны в отношении к материальным условиям жизни, а главное, если вам страшно наскучит город, советую чаще сворачивать с больших дорог: большие дороги ведь почти те же города! Это бесконечно длинные, пыльные и пустынные улицы, которыми города соединяются между собою; местами та же суета, но уже всегда и везде убийственная скука и однообразие. От Петербурга до Харькова, от Москвы до Перми – те же станционные дома, те же вытянутые в ряд села и деревни, предлагающие овес, деготь, кузнеца и самовар; вам мечутся в глаза те же полосатые версты, те же чахлые, покрытые едкой пылью ветелки, те же ямщики. Вся разница в том, что один ямщик говорит на «о» и носит шапку на манер гречишника, а сто верст далее делают ударение на «щ», и шапка его несколько приплюснута. «От Мурома до Нижнего столько-то, и столько-то от Орла до Тамбова!» – вот все, что узнаете вы на больших дорогах.

То ли дело проселки! Вы скажете: поэзия! Что ж такое, если и так? И наконец, если хотите знать, поэзия целой страны на этих проселках! Поэзия в этом случае получает высокое значение. Правда, вам не предложат здесь баранков, вы часто исходите целую деревню и не найдете самовара; не увидите вы здесь ни пестрых столбов, ни ветел, ни станций; не вытягиваются проселки по шнуру; не трудились над ними инженер – все это совершенная правда: их попросту протоптал мужичок своими лаптишками; но что ж до этого! Посмотрите-ка, посмотрите, какую частую, мелкою сетью обхватили они из конца в конец всю русскую землю: где конец им и где начало?... Они врезались в самое сердце русской земли, и станьте только на них, станьте – они приведут вас в самые затаенные, самые сокровенные закоулки этого далеко еще не изведенного сердца.

На этих проселках и жизнь проще и душа спокойнее в своем задумчивом усыплении. Тут узнаете вы жизнь народа; тут только увидите настоящее русское поле, в тем необъятно-меняющим простором, о котором так много уже слышали и так много, быть может, мечтали. Тут услышите вы впервые народную речь и настоящую русскую песню, и, головой вам ручаюсь, сладко забьется ваше сердце, если только вы любите эту песню, этот народ и эту землю!...

## IV

Посмотрите теперь, какое здесь разнообразие. Проселок, цепляясь с другими, бежит вперед и вперед, открывая поминутно новые виды: где деревушку, которая боязливо лепится по косогору, где пруд с головастыми ветлами, осокой и дощатым плотом, на нем толпа баб с вальками и коромыслами, пруд, отражающий клочок неба и кровлю перекосившейся избышки; где группу кудрявых дубков с вьющимися над ними галками и отдыхающим в стороне стадом; где гладь, бескрайнюю, необозримую гладь полей, и посреди ее, на каком-нибудь перекрестке, одинокий крест или часовню; где лощину, покрытую частым орешником и перерезанную ручьем, который пересох в песчаном дне, усеянном угловатыми камнями. Вы спускаетесь на мост, который, едва прикоснулись к нему копыта лошади, весь как будто переполнился страхом; дрожит он всеми своими суставами; дрожит, опасаясь, вероятно, за свое собственное существование столько же, сколько за жизнь смельчаков, которые так беззаботно вверяют ему свои кости. С диким криком и врезгом поднялась стая чибезов, испуганных шумом... И вот снова поднялись вы по косогору, снова на проселке, и снова пошли направо и налево новые виды: где клин соснового бора, который глянул для того, кажется, чтобы тотчас же скрыться; где снова зеленеющие пажити, с движущимися тенями туч и косыми полосами ливня на горизонте; а вот и большое село, с белою церковью на бугре, речкой, отражающей старинный липовый сад, лугами, избами, скворечницами и колодезным журавлем, высоко чернеющим в небе... И как, право, хороши эти виды!

## V

А между тем, чем далее подвигался я в глубину полей, тем тишина, меня окружавшая, делалась все торжественнее. Солнце село; вместе с ним угасла, казалось, и самая жизнь: смолкли хоры, смолкла гармоническая музыка, наполнявшая весь день и воздух, и землю. Темно-синий горизонт разлился по небу, и загорелись звезды...

На другой день, вечером, я приближался к цели моей поездки. Беззаботное, счастливое настроение духа, которое не оставляло меня во всю дорогу, стало изменять мне; сам не знаю отчего, но кровь волновалась сильно, я начинал чувствовать то внутреннее беспокойство, которое предшествует всякому ожиданию, как радостному, так и печальному. Когда я поднялся на холм, откуда видны были сначала деревня, потом роща, а за нею кровля дома, сердце мое забилось вдруг необыкновенно сильно.

Не верьте, пожалуйста, нашим столичным умникам, которых мы же сами, не находя им другого названия, а может быть, просто, из снисхождения, прозвали людьми с строгим, философским складом ума. Посмеиваясь над самыми простыми, естественными и, уж конечно, лучшими нашими чувствами, называя их действием воображения или слезливо-сентиментальными выходками, они, я уверен, слову не верят из того, что проповедуют: они только рисуются перед нами. Ведь только глупцы могут потешаться над тем, чего не знают или чего сами сознательно не переживали. Философия наших знакомых – больше ничего, как фразы, сухое и очень дешево доставшееся резонерство. Истинная философия состоит в убеждении, что лишнее умничанье ни к чему не ведт. Счастье заключается в простой жизни; просто живут те только, которые следуют своим побуждениям и доверчиво, откровенно отдаются движениям своего сердца. Дайте любому философу живописный участок земли, дом – какой-нибудь уютный, теплый уголок, скрытый, как гнездо, в зеленой чаще сада; пускай вместе с этим домом соединятся воспоминания счастливо проведенного детства, – и тогда, поверьте, подъезжая к нему после долгой разлуки, он искренно сознается, что вся философия его – вздор и гроша не стоит!